

С.С.АЛЫМОВ, А.М.РЕШЕТОВ

*Борис Алексеевич Куфтин:  
изломы жизненного пути*

В истории отечественной этнологии 20-е годы прошлого века характеризуются плодотворным развитием различных теоретических направлений и школ в рамках нескольких научных центров. Этнология в Москве существовала прежде всего в стенах Московского университета — на открытой в 1919 г. Д.Н.Анучиным кафедре антропологии физико-математического факультета, преобразованной в 1922 г. в Антропологический институт им. Д.Н.Анучина, и на созданной в том же, 1922 г. кафедре этнологии факультета общественных наук (в 1925—1931 гг. — этнологическом факультете) I МГУ. Кроме того, важную роль играли московские музеи — Центральный музей народоведения (ЦМН) и Музей Центрально-промышленной области (МЦПО), а также возглавляемый А.Н.Максимовым и В.В.Богдановым этнографический отдел Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), издававший журнал «Этнографическое обозрение».

В деятельности всех этнографических учреждений Москвы чрезвычайно активную и зачастую руководящую роль играл Б.А.Куфтин — один из наиболее крупных ученых-этнографов 20-х годов. Он внес значительный вклад как в конкретные исследования в основном по восточноевропейской этнографии и археологии Грузии, так и в теоретико-методологические. Широта его научных интересов характеризуется поистине энциклопедическим масштабом и включает проблемы этнографии, антропологии и археологии практически всех регионов России и сопредельных ей стран. Активнейшее участие Куфтин принимал в музейном строительстве, благодаря его чрезвычайно интенсивной экспедиционной деятельности была собрана значительная часть коллекций МЦПО и ЦМН. Не менее важна его преподавательская работа в Московском университете, благодаря которой

было воспитано поколение ученых, многие из которых впоследствии определяли развитие отечественной науки. С 1930 г. Куфтин был насильственно выключен из участия в этом процессе, так как его репрессировали и сослали на три года в Вологду. Задача данной статьи проследить изломы творческого и жизненного пути Б.А.Куфтина, попытаться показать его деятельность на фоне ситуации, сложившейся в отечественной науке.

\* \* \*

Б.А.Куфтин родился 12 (24) января 1892 г. в Самаре. Отец его, Алексей Никанорович Куфтин, был поручиком Бузулукского резервного батальона, мать — учительницей. В детстве Борис Куфтин проявлял склонность к естественным наукам. Еще будучи учеником Оренбургского реального училища, он занимался сбором ботанических и зоологических коллекций и совершил путешествие пешком от Аральского моря до Ташкента. В 1909 г. Борис поступил в Московский университет на физико-математический факультет. Однако через два года, в 1911 г., за участие в студенческом движении Куфтин был исключен из университета и уехал за границу, где прожил около двух лет в Швейцарии и Италии. В 1913 г. по объявленной в честь трехсотлетия дома Романовых амнистии он вернулся в Москву и некоторое время работал внештатным ассистентом-преподавателем на кафедре ботаники в Московской сельскохозяйственной академии, читал курсы ботаники в Народном университете Шанявского. В 1916 г. молодой ученый совершил поездку в район Джунгарского Алатау (горная система в юго-восточной части Казахстана), результатом которой стала работа «Орография Джунгарского Алатау», представленная в качестве кандидатской диссертации в Московский университет. Во время поездки в Казахстан в сферу научных интересов Куфтина вошла новая область — этнография. Это произошло благодаря знакомству с руководителем этнологического отделения Московской секции Российской Академии истории материальной культуры (РАИМК), а впоследствии директором МЦПО В.В.Богдановым, который предложил ему заняться сбором материалов по казахскому народному календарю. Уже в 1916 г. Богданов опубликовал в «Этнографическом обозрении» статью «Календарь и первобытная астрономия киргиз-казацкого народа», первую этнографическую работу Куфтина, явившуюся, по его словам, также «почти первой работой, посвященной вопросу выяснения формы тюркского народного календаря по его пережиткам, сохранившимся у киргиз-казац-

кого народа»<sup>1</sup>. В 1917 г. Куфтин сдал кандидатские экзамены и был оставлен Д.Н.Анучиным при Университете на два года для подготовки к профессорскому званию по кафедре антропологии. Влияние идей Д.Н.Анучина относительно неразрывности триады (этнографии, антропологии и археологии) скажется как на эмпирических работах, так и на теоретических взглядах Куфтина. «Сформулированные Анучиным принципы, — пишет С.А.Токарев, — вдохновляли русских исследователей на протяжении многих лет. В духе этих принципов писались ценные монографии — от "Русских лопарей" Николая Харузина до работ Б.А.Куфтина 20-х годов, посвященных проблемам восточнославянской этнографии»<sup>2</sup>. Таким образом, мы видим, что на становление Куфтина как этнографа наибольшее влияние оказали Д.Н.Анучин и В.В.Богданов. Сотрудничество с последним было особенно плодотворным и продолжалось на протяжении всех 20-х годов.

\* \* \*

Советские историографы справедливо отмечают, что основные заслуги Куфтина как этнографа состоят в изучении материальной культуры в связи с проблемами этногенеза. С.А.Токарев считает, что такие ученые, как В.В.Богданов, Б.А.Куфтин, Н.И.Лебедева, Е.Э.Бломквист, Г.С.Маслова и другие, «сумели найти правильный угол зрения на явления материальной культуры»<sup>3</sup>. Г.Ф.Дебец также замечает: «Первый период научной деятельности Б.А.Куфтина характеризовался преимущественно работами в области этнографического изучения материальной культуры народов СССР»<sup>4</sup>. Действительно, объектам материальной культуры в своих работах Куфтин отдает явное предпочтение. Это является характерной чертой московской этнографии 20-х годов, развивавшейся в основном вокруг музейных центров: недаром практически все перечисленные выше ученые были тесно связаны с работой двух московских музеев — МЦПО и ЦМН. Особый интерес к материальной культуре объясняется, по-видимому, самой спецификой музейной работы, а также популярными в то время теоретическими установками «культурно-исторической школы».

Практически все работы Куфтина по этнографии Центральной России проводились под эгидой МЦПО. Если судить по публикациям 20-х годов, это было довольно разностороннее учреждение и этнографическая составляющая была далеко не единственной в его деятельности. Значительную часть изданий музея составляют биологические и орнитологические исследования А.Н.Формозова, П.А.Смирнова и других, а также археологи-

ческие исследования, проводившиеся под руководством Б.С.Жукова и О.Н.Бадера.

О методике этнографических исследований музея мы можем судить по программному докладу В.В.Богданова на Первом этнологическом совещании по изучению ЦПО. Богданов провозгласил необходимость «отрешиться от тех приемов этнологического обследования, которые в нашей науке базируются на принципе эволюции форм и элементов общечеловеческого быта»<sup>5</sup>. Эволюционистскому методу, конструирующему абстрактный «общечеловеческий быт», противопоставлялось конкретное изучение истории бытовых явлений, распространенных на определенной территории, в чем, собственно, и состоял смысл отстаиваемого Богдановым «культурно-исторического метода». Этнологу-эволюционисту он предпочитает этнолога-областника, опирающегося в изучении своего региона на комплексное использование археологических, исторических, лингвистических и других данных. В.В.Богданов пишет: «Территориальная связь бытовых явлений есть специальная и основная задача областного изучения, но эта связь идет дальше, за пределы областной территории <...> Этнолог-областник обязан оперировать с этими труднейшими задачами для его областных этнологических тем и многое брать из областей смежных наук, особенно лингвистических, исторических и др.»<sup>6</sup>. Этот тезис был полностью воплощен в работах Куфтина 20-х годов, например, он полностью разделяет следующее определение Богдановым основных задач «культурно-исторического метода»: «При культурно-историческом понимании исследуемых явлений народного быта необходимо ценить три условия: 1) историческую датировку, 2) хронологическую последовательность одних форм после других (как это соблюдается в исследованиях диалектологических), 3) территориальную и бытовую связь одних явлений с другими, как, например, в работах Д.К.Зеленина — связь известных форм костюма с известными фактами говора»<sup>7</sup>.

Еще одной важной чертой позиции Богданова, разделявшей и Куфтиным, является его крайне скептическое отношение к участию этнографов в «изучении современности». Эта общая черта «московской школы» проявится и на совещании этнографов Ленинграда и Москвы 1929 г. Этнология — наука историческая, объектом ее изучения является прошлое и его «пережитки», следовательно, «современность» не может входить в круг ее интересов: «культурно-исторический принцип нельзя применить к современному быту, и изучать быт можно лишь постольку, поскольку он дает материал *пережитков прошлого* (курсив Богданова)»<sup>8</sup>.

Музей провел два совещания этнографов по изучению Центрально-промышленной области (ЦПО) — в марте 1926 и декабре 1927 г. Куфтин принимал деятельное участие в обоих совещаниях. Основной целью этих совещаний было «поставить и обсудить многие вопросы как методики, так и направления изучения культуры населения области»<sup>9</sup>. Доклады по наиболее общим вопросам принадлежали В.В.Богданову, Д.К.Зеленину, Б.А.Куфтину, С.П.Толстову. Рассмотрение этих докладов и развернувшихся на совещаниях дискуссий позволяет очертить круг теоретических проблем, актуальных для московских этнографов тех лет. Совещания, по мнению одного из молодых, но наиболее активных сотрудников Музея ЦПО С.П.Толстова, подводят итог этапу еще недолгой истории советской этнологии, который он вслед за Преображенским называет «периодом стихийного самотека»<sup>10</sup>. «Стихийное» развитие этнографии и краеведения необходимо, по мысли организаторов совещания, направить в единое, теоретически и методически определенное русло. Многие наиболее влиятельные участники совещаний связывали этот процесс с понятием «культурно-исторической школы».

По мнению Д.К.Зеленина, этнографическое изучение ЦПО должно вестись в контексте теоретических проблем, стоящих перед мировой наукой. Из них он выделяет два наиболее «ударных» и актуальных вопроса: вопрос о конвергентности (независимом, параллельном возникновении определенных явлений культуры в разных культурах) и диффузии, а также вопрос о культурных районах и культурных центрах, распространяющих на эти районы свое влияние<sup>11</sup>. Основным методом разрешения этих вопросов Зеленин считает метод картографирования ареалов распространения преимущественно явлений материальной культуры (техники гончарства, обработки кож и т.д.).

П.Ф.Преображенский в своем докладе также отмечает, что основная теоретическая дискуссия в мировой этнографии между эволюционистами и «исторической школой» идет вокруг дихотомии «независимое развитие — диффузия», причем «историческая школа является все время атакующей и в значительной степени подорвала авторитет старых эволюционистских теорий»<sup>12</sup>. Обсуждение доклада Преображенского, проходившее на вечернем заседании совещания 10 декабря 1927 г. под председательством Куфтина, показывает, что лидеры московской этнографии того времени — Куфтин, Преображенский, Толстов — были достаточно единодушны в своем понимании процесса смены парадигм в этнографической науке, а также принципов «культурно-исторической школы». Однако были и существенные разногласия. Наиболее оптимистичные оценки высказывает

Куфтин: «Культурно-историческая школа ставила и разрешала вопросы взаимоотношения и формирования культуры в историческом аспекте и понимала этот процесс как исторический, а не теоретически-эволюционный, и в этом смысле приходится сказать, что эволюционная школа не давала возможности разработать вопросы аккультурации и взаимодействия отдельных культур. Сущность значения исторической школы именно в том, что от теоретических построений она перешла к анализу конкретных фактов во всей их географической, исторической и этнической сложности»<sup>13</sup>. И далее: «Культурно-историческая школа жива и имеет все данные для развития»<sup>14</sup>.

Гораздо более сдержанную позицию занял Преображенский. По его мнению, западная наука переживает глубокий кризис, причинами этого кризиса являются не только несогласия эволюционистов и диффузионистов, но и недостатки в теориях самой культурно-исторической школы. Он выделяет три основные проблемы: во-первых, можно ли на основе сходства материальной культуры делать выводы о наличии культурных контактов, влияний и т.п. (при этом теряется «культурная связка», т.е. понятие о культуре как целом)<sup>15</sup>; во-вторых, неясен сам механизм заимствования<sup>16</sup>; и в-третьих, не разработана проблема этноса: «Школа имеет дело лишь с культурным кругом, имеющим самостоятельное существование и не увязанным с этническими организмами. Без разрешения проблем структуры культуры, аккультурации и этнической группы этнология не может дальше развиваться, она заходит в тупик»<sup>17</sup>.

С.П.Толстов, соглашаясь с Преображенским, выражал, однако, большую уверенность в жизнеспособности парадигмы: «Основы культурно-исторической школы — расценка культурных явлений как отражения истории общественных групп, принцип диффузии, заимствования и аккультурации — не оспариваются»<sup>18</sup>. Следует отметить, что, хотя «культурно-историческая школа» (точнее, «культурно-исторический метод») Богданова и Куфтина возникла под влиянием западноевропейских диффузионистских школ, она была свободна от крайностей диффузионизма и не претендовала на глобально-исторические обобщения. Эта интересная и оригинальная школа еще не получила достаточного освещения в отечественной историографии. Как увидим далее, теоретические дискуссии на совещаниях по изучению ЦПО были непосредственно связаны с исследовательскими работами Куфтина.

\* \* \*

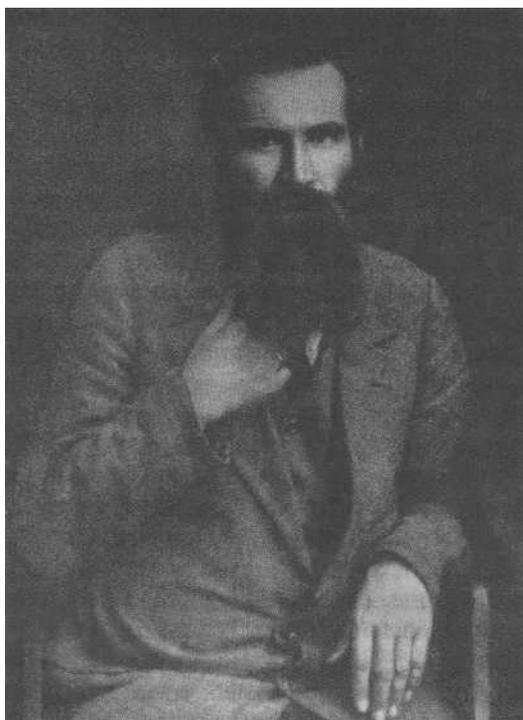
На этнографическом совещании 1929 г., подытоживая свой многолетний опыт экспедиционной и исследовательской деятельности, Куфтин говорил: «В основе сравнительного этнологи-

ческого изучения района лежит исследование <...> прежде всего материальных орудий производства <...> Далее следует сравнительное изучение и собирание других сторон культуры, но по возможности в формах, поддающихся зрительной фиксации. К такого рода явлениям принадлежат расовые типы, вся материальная культура (пища, одежда, средства передвижения), годовые циклы производственных процессов и годовые циклы бытовой жизни, а также те стороны племенной идеологии, которые выражаются в материальных предметах и действиях. Преимущественное изучение таких явлений вытекает из самого существа сравнительной этнологии, так как даже сложный факт социальной жизни, закрепленный в материальном объекте, становится легко фиксируемым и достоверным»<sup>19</sup>.

Основываясь именно на этом принципе, Куфтин предполагал осуществить «сравнительное этнологическое изучение» этнографической группы, проживающей в основном в северных районах Рязанской области и известной под названием «русской мешеры». Исследование, посвященное материальной культуре этой группы, должно было состоять из четырех частей: женский и мужской костюм, жилище, средства передвижения, занятия и орудия труда. Выполнить, да и то не полностью, удалось только первую часть этого плана: в 1926 г. в серии трудов МЦПО выходит монография Куфтина «Материальная культура русской мешеры. Часть I. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан». В 1927 г. музеем были заявлены как готовящиеся к печати вторая часть «Женский костюм: наверхник, шушпан. Головной женский убор, обувь» и третья — «Мужской костюм, мужская и женская верхняя одежда», однако они так и не увидели свет.

Рассматриваемое исследование основывается на материалах, собранных для музея Рязанской экспедицией, организованной В.В.Богдановым. Работа этой экспедиции занимала, по крайней мере до последней трети 20-х годов, центральное место в этнографической деятельности музея. Б.А.Куфтин проводил сбор коллекций в 1921 г. В 1919 и 1920 гг. он также участвовал в работе экспедиции, однако в эти годы коллекции для музея не приобретались и материал собирался «исключительно в виде записей, зарисовок и фотографий»<sup>20</sup>.

В основу монографии «Материальная культура русской мешеры» легли два доклада: «Народный костюм Мещерского края в связи с историей его колонизации» на петроградской секции РАИМК и «Народный костюм восточной части области средне-великорусских говоров» — в Московской диалектологической комиссии. В отличие от довольно популярного в те годы жанра статистико-этнографического описания современного состояния



*Б.А.Куфтин. Середина 20-х годов*

деревни, эта работа является примером применения к великорусской этнографии «культурно-исторического» метода. Главной целью автора было выявить наиболее архаические черты быта населения.

Еще одной важной чертой методологии Куфтина является широкое использование сравнительного материала. Женский костюм географически ограниченной группы великороссов он рассматривает на фоне типологии и истории не только великорусского костюма в целом, но и данных о костюме южных славян, прибалтийских народов, Западной Европы. Кроме того, он опирается на археологические исследования (часть из которых проводил он сам), а также работы А.А.Шахматова, Е.Ф.Будде и других лингвистов.

Опыт изучения великорусского костюма Куфтин подытоживает в докладе «Задачи, методы и достижения в изучении костюма ЦПО» на Первом этнологическом совещании при Музее ЦПО. Он подчеркивает значение костюма как «наиболее яркого этни-

ческого признака» и, следовательно, наиболее ценного (сравнительно с другими явлениями материальной культуры) этнографического источника.

«Изучение костюма должно вскрыть этническую структуру области, направление, куда тяготеют отдельные ее части и, наконец, процесс смены форм в связи с историей образования областного типа»<sup>21</sup>. Чтобы понять «историю областного типа», необходимо под современными наслоениями последовательно обнаруживать все более архаические элементы. В то время путем непосредственного опроса стариков можно было выявить костюм эпохи, предшествовавшей отмене крепостного права. Согласно методологии Куфтина, большая хронологическая глубина исследования возможна только при широком территориальном охвате.

Б.А.Куфтин также подчеркивает особое значение исследования районов с «задержавшимся культурным развитием». Этот принцип определял экспедиционную политику возглавляемого Богдановым музея. Куфтин прибегает к естественно-научным аналогиям, ярко характеризующим его понимание работы этнографа: «Подобно геологу, ищущему для определения последовательности слоев выходов горных пород в естественных разрезах местности, или подобно зоологу и фитогеографу, пользующимися реликтовыми островами для уяснения истории развития флоры и фауны района, этнологу, изучающему крупные этнические массивы, эти районы бытования реликтовых, так сказать, форм служат по отношению к более обширной окружающей их территории ключом для выделения древней структуры области и выделения исходных форм и наслоений — эта мысль, высказанная В.В.Богдановым, здесь должна быть особенно пропагандируема»<sup>22</sup>.

Рязанская область интересовала Богданова и Куфтина именно в качестве такого «реликтового» района. Таким же районом была и территория активно изучавшегося в то же время Н.И.Лебедевой Калужского полесья. «Эти районы, — говорит Куфтин, — дали материал для подхода к истории главным образом южно-великорусских комплексов костюма и раскрытия культурных взаимоотношений в южной половине ЦПО»<sup>23</sup>.

Б.А.Куфтин представляет комплекс женской крестьянской одежды в качестве своего рода геологического образования, отдельные элементы и формы которого должны быть сопоставлены с определенными этническими группами — их носителями, влиянием которых объясняется их наличие в костюме данного региона: «Морфологический анализ должен выяснить ряд групп, выделение которых, однако, должно базироваться не только на

формах, но и на этнокультурных основаниях, то есть путем установления принадлежности каждой данной группы к определенной культурно-исторической среде»<sup>24</sup>.

Центральной частью исследования Куфтина о мешере является глава о поневе — поясной женской одежде, напоминающей юбку. Наибольшее внимание он уделяет поневам, характерным только для Мещерского края. Некоторые параллели мещерским поневам Куфтин отмечает только в районе Калужского полесья, что подтверждается и при анализе им покроя мещерских рубах. В носителях этих понев исследователь видит потомков древнего славянского населения края, оттесненного позднейшей (XV—XVI вв. и далее) южновеликорусской колонизацией.

Подкрепление своей гипотезе он находит в языковедческих работах Е.Ф.Будде и А.А.Шахматова, посвященных изучению великорусских диалектов. Е.Ф.Будде, специально изучавший говоры практически той же территории — Касимовского уезда, отмечает, что касимовские говоры, несмотря на характерное южновеликорусское аканье, во многих чертах сходны с говорами северных великороссов. Куфтин оспаривает установившуюся благодаря Д.К.Зеленину традицию считать поневу принадлежностью южновеликорусского костюма, в отличие от северовеликорусского сарафана. Он приводит свидетельства того, что понева когда-то бытовала и в северовеликорусской среде. Носителей мещерского типа понев Куфтин склонен считать потомками летописных вятичей.

Следует отметить, что впоследствии некоторые выводы монографии подверглись критике. Н.И.Гаген-Торн назвала работу Куфтина типичной для московских этнографов и «впервые дающей законченную и четкую методологию описания одежды». Тем не менее она подвергла критике сам подход к изучению одежды, при котором основной проблемой исследования является вопрос, «откуда пришла в изучаемую этническую группу данная одежда и к каким культурным традициям она может быть отнесена»<sup>25</sup>, тогда как с марксистской точки зрения важнее является вопрос, почему данная одежда бытует и сохраняется. Кроме того, она отметила, что увлечение лингвистическими данными помешало ученому увидеть связи одежды мещеры и народов Поволжья<sup>26</sup>. Несогласие с Куфтиным выразили также С.П.Толстов и Н.И.Лебедева, считавшие мещеру обрусевшим финно-угорским племенем. Так, Н.И.Лебедева в письме Г.С.Масловой уже в 60-е годы писала: «Куфтин разработал данные о рубахе, поневе и сарафане — элементах славянских, но работа его осталась незаконченной, а если бы он коснулся обуви и головных уборов, то, вероятно, и выводы его были бы другие»<sup>27</sup>. Тем не менее данная

работа стоит в ряду исследований, оказавших влияние на методологию классификации и изучения одежды на основе ее «конструктивных» признаков (покроя и т.д.).

География работ Куфтина по великорусской этнографии не ограничивается Рязанской областью. В 1924 г. совместно с А.М.Россовой-Куфтиной он проводит экспедицию по Московской области, на материале которой появляется статья «У гончаров Дмитровского и Воскресенского уездов в Московской губернии». Изучение технологии гончарства также было созвучно направлению работ МЦПО, Богданов не раз настаивал на необходимости изучения промыслов этого региона, сохранивших много архаичных черт. Работа строится на сравнительном анализе двух очагов гончарного производства в Московской губернии. Основное внимание уделяется конструкции гончарного круга — главному признаку, различающему традиции использования ручного или ножного гончарного круга. Промысел с ручным кругом характерен для всего великорусского гончарства, в отличие от украинского, использующего ножной. Появление в Московском уезде украинско-белорусского круга Куфтин связывает с притоком сюда белорусского населения, вероятно в XVII в.

\* \* \*

В 1923 и 1925 гг. Куфтин по поручению Антропологического института и ОЛЕАЭ, ученым секретарем которого также был В.В.Богданов, совершил несколько экспедиций в Крым, результатом которых стали его работы, посвященные культуре крымских татар. С октября 1922 г. Куфтин являлся членом Российского общества по изучению Крыма (РОПИК) — организации, ставившей своей целью всестороннее (геологическое, археологическое, экономическое, биологическое и т.д.) изучение полуострова. Он принимает активное участие в его организационной и исследовательской работе. Так, 22 октября 1923 г. Куфтин участвует в открытии Ялтинского отделения общества, в феврале 1924 г. на заседании Общества в Политехническом музее он зачитывает доклад «О задачах этнологического изучения Крыма».

Следует отметить сходство самого названия работы, основанной на собранных в Крыму материалах, — «Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова (материалы и вопросы)» с названием первого варианта работы о мешере — «Народный костюм Мешерского края в связи с историей его колонизации». Схожи и их методологические основы, что, конечно, вполне естественно, так как работа по этим темам велась Куфтиным практически одновременно: несмотря на то что нача-

ло экспедиционной деятельности в Крыму относится только к 1923 г., ее результаты были обобщены и опубликованы уже в 1925 г., на год раньше книги о мещере. В обоих случаях Куфтин подчеркивает необходимость привлечения широкого сравнительного материала, сопоставления с археологией, этнографией и антропологией соседних регионов и культур, участвовавших в формировании «культурных элементов» изучаемого района.

С этой точки зрения между Рязанской областью и Крымом есть нечто общее: Рязанщина является территорией, по которой проходит граница расселения южных и северных великороссов, ареной многовекового смещения и взаимодействия этих (а также других, например местных, финских) традиций. То же мы видим и в Крыму. Б.А.Куфтин пишет: «Крымский полуостров <...> принадлежит культурно к двум различным мирам»<sup>28</sup>. Они определяются, с одной стороны, влиянием северной кочевнической культуры, с другой — земледельческой средиземноморской, с юга. Эти, а также другие культурные влияния «несли на почву Крыма выработанные в иных природных условиях культурные черты, которые перерабатывались здесь в своеобразном взаимодействии друг с другом, приспособляясь к местной природе и туземным формам быта»<sup>29</sup>. Кроме того, Крым, как и Рязанская область, привлекает Куфтина тем, что на его территории длительное время как своего рода «реликты» сохранялись остатки скифов, гуннов и других племен.

Как и в работах по великорусской этнографии, в «крымских» исследованиях речь шла также почти исключительно о материальной культуре, но на этот раз главным объектом изучения оказалось жилище. Впрочем, во время экспедиций в Рязанский край Куфтин собирал материалы и по истории русского жилища. Во всяком случае, именно к нему обратилось в 1925 г. Общество исследователей Рязанского края с просьбой составить анкету по изучению крестьянского жилища. Вместо анкеты Куфтин включает краткую инструкцию в изданную в том же году отдельную брошюру, в соответствии с которой должно проходить изучение крестьянского жилища. Он подчеркивает его важность как источника для реконструкции «подлинной народной истории»<sup>30</sup> и намечает конкретную программу, по которой должно осуществляться описание жилища.

Для «Жилища крымских татар в связи с историей заселения полуострова» характерна присущая Куфтину исследовательская стратегия: на первом этапе он создает географическую классификацию конструкции крымских жилищ. Затем постепенно, как во время археологических раскопок, «снимает» различные, сна-

чала наиболее поздние, слои особенностей, характерных для разновременных и принадлежащих различным культурам строительных традиций.

Б.А.Куфтин выделяет четыре типа строений крымских татар, каждый из которых имеет различное происхождение. Это характерные татарские дома города Бахчисарая, деревенские дома Бахчисарайского района, жилище степного района вокруг городов Карасубазара и Симферополя и, наконец, дома южного берега Крыма. Первый, по времени наиболее поздний, тип — бахчисарайский городской дом является результатом влияния турецко-османского зодчества, наиболее примечательным образцом которого в Крыму был ханский дворец. Куфтин отмечает, что в конструкции типичного дома в Бахчисарае отражено стремление подражать стамбульской архитектуре.

Ко второму типу относятся срубные постройки предгорных районов Западного Крыма, которые, по Куфтину, связаны с древней земледельческой культурой племен готов. Основываясь на греческих и латинских источниках, Куфтин дает исторический экскурс готской колонизации Крыма и описывает своеобразный «северный» характер построек. Идея поиска готских влияний в татарском жилище была также подсказана ему Богдановым еще в 1923 г.<sup>31</sup>.

Два оставшихся типа, по мнению Куфтина, — наиболее ранний пласт, отражающий характер жилища древних аборигенов Крыма, причем «древнейший слой татарского жилища восстанавливается из сравнения его с кавказским»<sup>32</sup>. Третий из выделяемых типов встречается в степном районе вокруг Карасубазара. Куфтин прежде всего обращает внимание на конструкцию крыш этих домов, которая встречается в «наиболее примитивном типе плетневых построек черкесов, их сараев и курятников»<sup>33</sup>, а также на Балканском полуострове. Кроме того, Куфтин отмечает, что в конструкции крымских крыш содержатся элементы свайных построек, распространенных некогда по берегам Азовского моря и известных в трипольской культуре.

Наконец, четвертый тип татарского жилища распространен среди татар южного берега Крыма, известных под именем татов. Отличительной особенностью татских деревень является скученная планировка и расположение по склонам гор, при котором один дом буквально нависает над другим. Для самих домов характерны плоская крыша и крестовидное расположение комнат. «Если мы сравним, — пишет Куфтин, — эту обстановку и вместе форму южнобережного дома с архаическими домами грузинскими, осетинскими, лезгинскими, чеченскими, также армянскими на Кавказе, мы увидим полное сходство между ними»<sup>34</sup>. То, что

сходство проявляется именно в архаических чертах строения, доказывает древность культурных контактов между этими регионами.

Отмечая это сходство, Куфтин, однако, не ставит вопроса, имеющего важное значение не только для данной работы, но и для «культурно-исторической» методологии в целом: может ли отмеченное сходство являться результатом воздействия сходных природных условий, а не общности исторических судеб? Это возвращает нас к критике Преображенским теории «культурно-исторической школы», поставившей, по его словам, «задачу показать сравнительно малую изобретательность отдельных человеческих групп и стремившейся установить огромное значение принципа культурной диффузии, перенесения и заимствования культурных факторов»<sup>35</sup>. В начале своей работы о жилище крымских татар Куфтин пишет, что «жилище находится в зависимости от данной природы, с которой связаны и материал, и техника, и форма жилища»<sup>36</sup>. Однако природа оказывается, по Куфтину, так сказать, сдерживающим фактором: «Та или иная деталь жилища, получив распространение при сложившихся культурно-исторических отношениях, может привиться только в том случае, если этому не противоречит природа»<sup>37</sup>. Поэтому в сходных природных условиях могут существовать различные строительные традиции, принесенные различными культурными влияниями: «Безусловно, невозможно свести к чисто природным влияниям отличия жилищ южнобережного татарского населения от горных поселений северного склона или местные различия по материалу и конструкции жилищ степной полосы»<sup>38</sup>. Действительно, всегда ли наличие сходных черт конструкции жилища в сходных природных условиях можно объяснить культурными связями и взаимовлияниями? Куфтин безусловно склоняется к такой возможности. В кратком очерке «Южнобережные татары Крыма», охватывающем все составляющие этнографического описания (антропологический тип, костюм, жилище, занятия, духовная культура), он пишет: «Своеобразный тип южнобережной деревни по своему происхождению не может быть сведен ни к общегурецким степным формам, ни объясняться из тех влияний готских, аланских, скифских, которые естественно искать на почве Крыма. Сходство южнобережных построек с закавказскими и малоазиатскими заставляет относить появление и развитие их в Крыму к тому культурному слою, который, может быть, предшествовал появлению здесь скифов, первых греческих колоний и с которым связана древняя этническая история всего Средиземноморья»<sup>39</sup>. Относительно этой древнейшей эпохи Куфтин высказывает только осторожные предположения: «<...> культурное

взаимодействие Крыма и Кавказа поддерживалось вероятным этническим единством населения всего европейского и азиатского Средиземноморья. В названии пролива меж Азовским и Черным морями Босфора Киммерийского означена эта историческая связь Крыма с Кавказом через загадочную народность киммерийцев, о которых Геродот сохранил древнейшие предания»<sup>40</sup>.

Материалы по татарскому жилищу послужили основой для еще одного исследования Куфтина. Участвуя в работе Рязанской экспедиции, он обратил внимание на культуру касимовских татар и группы так называемых татар-мишарей. Возможно, это было связано с подготовкой Музеем ЦПО экспозиции «Нацмены ЦПО», осуществлявшейся под руководством С.П.Толстова. Материал для этого исследования Куфтин собирал во время нескольких кратковременных поездок в 1921, 1925 и 1926 гг. Результаты этой работы ученый представил в своем докладе на Втором совещании этнологов ЦПО, 7—10 декабря 1927 г. Изучение этих групп проведено им в этногенетическом разрезе. Этноним группы мишарей Куфтин связывает с встречающимся в русских летописях этнонимом «можары», который, в свою очередь, выводится от мажар, живших, согласно арабскому географу Ибн Русту, в X в. в области Нижней Волги и Дона. Ученый разделяет мишарей и другие группы татар, отмечая «конгломератный состав и различное происхождение различных составных частей волго-татарской народности»<sup>41</sup>. Он считает мишарей потомками «культурно поработанной казанскими татарами народности», для которой предполагается древняя финская этническая основа. Подробно анализируя жилище и в особенности строение печи, Куфтин приходит к выводу, что «мишарские печи с подвесными котлами и часто без труб свидетельствуют не о татарском прототипе, а о древнем туземном ядре, просвечивающем сквозь более поверхностные татарские наслоения»<sup>42</sup>. «Такого рода устройство печи <...>, — считает Куфтин, — вводит мишарскую печь в один круг с волго-финскими и западно-финскими, а также, по видимому, и балтийскими вообще дославянскими печами с очагом на всей этой территории»<sup>43</sup>. Конструкция же татарских печей генетически связывается с печами, распространенными в оседлых жилищах башкир, казахов, а также в примитивных жилищах народов Западной Сибири. По мнению Куфтина, источником происхождения печей касимовских и казанских татар является «культурная среда, в которой некогда соприкасались и взаимодействовали угро-самоедские и турецкие племена»<sup>44</sup>.

В статье о мишарях, пожалуй, ярче, чем в других работах, проявляется подчеркиваемая Куфтиным крайняя сложность этно-

генетической проблематики. Вопросам социальной организации изучаемых им обществ Куфтин уделяет очень мало внимания, к примеру, в статье о крымских татарах этому посвящено буквально несколько предложений, что также является чертой «культурно-исторического метода».

\* \* \*

Как уже было сказано, археология с самого начала являлась неотъемлемой частью научной деятельности Куфтина, бывшего также членом комиссии по археологии московской секции РАИМК. Первые археологические работы он проводил в Рязанской губернии, на берегу оз. Святого, где еще в 1919 г. им были обнаружены следы неолитической стоянки. В 1923 г. совместно с Б.С.Жуковым Куфтин осуществляет раскопки близ подмосковного села Льялово. Предварительный отчет о раскопках был опубликован Куфтиным в серии трудов Общества исследователей Рязанского края<sup>45</sup>. Характерной чертой льяловской культуры являлось одновременное нахождение неолитической гребенчатой керамики и макролитических орудий, характерных для раннего неолита Северной Европы. На тот момент это было древнейшее известное науке поселение на территории Московской области, позволившее датировать ее заселение по крайней мере III тыс. до н.э.

Следующая археологическая работа Куфтина вновь связана с Рязанщиной и осуществлена совместно с заведующим Касимовским музеем И.А.Китайцевой и заведующей Русским отделом ЦМН Н.И.Лебедевой. Подборная культура (по названию оз. Подборное) была обнаружена в нескольких километрах от Касимова. Борис Алексеевич считает ее родственной срубной и андроновской культурам<sup>46</sup>.

Кроме эмпирических работ по археологии Куфтина интересует теоретическая проблема интеграции этнографических и археологических исследований. Историографы отмечают, что в археологической науке 20-х годов было три методологических направления: классическое, эволюционистское и палеоэтнологическое. Последнее связывается с деятельностью двух университетских школ, основателями которых были проф. Ф.К.Волков в Петербурге и Д.Н.Анучин в Москве. «Палеоэтнология в МГУ, — пишет В.Ф.Генинг, — наиболее ярко представляла в советской науке культурно-историческое направление, как оно понималось в западной науке, но в силу специфики своего развития в России (влияние деятельности Д.Н.Анучина) оно получило значительную окраску географического детерминизма»<sup>47</sup>. Главным

сторонником палеоэтнологии был коллега Куфтина по Антропологическому институту Б.С.Жуков, считавший, что в рамках палеоэтнологии исследователи «вступили на путь принципиально-го уничтожения границ между погребенными и современными культурами...»<sup>48</sup>. Свои идеи, связанные с этой проблемой, Куфтин изложил в докладе на Палеоэтнологическом совещании при МЦПО 27—29 мая 1926 г. Взаимодействие этнографии и археологии, отмечает ученый, сталкивается с рядом серьезных затруднений. Несмотря на общие цели этих двух наук — «дать конкретную историю развития человечества во всем многообразии культурно-племенных проявлений его быта»<sup>49</sup>, сами материалы, которыми они оперируют, противоположны по своим характеристикам: археологические находки имеют, как правило, определенную датировку, в то время как этнография имеет дело с объектами, одновременно существующими в современном быту. «Хронологическая глубина, в смысле археологии, этнологическому факту не присуща, она восстанавливается теоретически только для типа, а не для данного реального предмета»<sup>50</sup>. Археологический объект имеет определенную территорию, в то время как территория распространения этнографического объекта неопределенна: «для типа, уясняемого как памятник некоторой эпохи, территория становится тоже гипотетической»<sup>51</sup>. В то же время этнографический объект обладает определенной этнической характеристикой, тогда как археологический ее лишен.

Каковы пути интеграции этих наук? Б.А.Куфтин пишет: «Этнология стремится с помощью археологии или выяснить территорию прошлого пребывания племени по остаткам его культуры, поддающимся отождествлению с современными элементами, или же обнаружить реально-древний культурный тип племени на территории, выявленной этнологическим анализом для определенной эпохи»<sup>52</sup>. Этот путь, однако, осложняется тем, что, как правило, те предметы, которые бытуют в этнографической действительности, очень скудно представлены в археологии, а то, с чем имеет дело археолог, каменная и костяная индустрия, бронза, медь, в основном вышло из употребления у современных народов. Выход из этой ситуации ученый видит в максимально строгой и подробной фиксации при раскопках этнографически наиболее ценного материала по жилищу и остатков одежды: «Было бы желательно, чтобы к изучению особенно поздних могильников, дающих фрагменты ткани, привлекался бы обязательно этнолог, работающий в области костюма»<sup>53</sup>.

На археологию возлагает Куфтин надежды в разрешении поставленного в его работе «Материальная культура русской мешеры» вопроса о распространении поневного комплекса среди се-

верных великорусов. При установлении этнической принадлежности археологических культур, особенно при отсутствии исторических свидетельств, касающихся территорий их нахождения, археолог сталкивается с еще большими трудностями, так как легко впасть в заблуждение, идентифицируя эти культуры исходя из современной этнической ситуации. Решение этого вопроса, считает Куфтин, возможно «только при учете широкого племенного окружения и при совокупном анализе взаимоотношений погребенных и современных культурных типов на крупных территориях»<sup>54</sup>. Ученый приходит к выводу, что необходимо не только использование этнографами выводов археологии и наоборот, но «в полном смысле совместное их участие в этой работе и создание специальной методологии, не вытекающей из существа материалов каждой из них по отдельности, но только из общей их задачи»<sup>55</sup>.

\* \* \*

Наряду с исследовательской деятельностью Куфтин на протяжении 20-х годов преподает в Московском университете. Его преподавательская работа поражает своей интенсивностью и широтой материала. Куфтин читает курсы по этнографии практически всех регионов СССР, а также лекции по теоретической этнографии, методике музейной работы, проводит полевой практикум и т.д. Весной 1919 г. Анучин предлагает Куфтину, сдавшему экзамены на звание магистра, читать курсы по «народоведению». После смерти Анучина ему было поручено заведовать всем народоведческим циклом на кафедре. В своей автобиографии Куфтин пишет: «До 1930 г. мною читались курсы: 1) история первобытной культуры и народоведение; 2) описательное народоведение; 3) народоведение Восточной Европы и Кавказа; 4) народоведение Сибири и Средней Азии; 5) народоведение турецких племен»<sup>56</sup>. Кроме того, он вел занятия по курсам «Методы научного определения этнографических памятников», подготавливавшему студентов к музейной работе, и «Введение в археологию доклассового общества». Теоретическая составляющая народоведческого курса носила название «Сравнительное народоведение или общая этнология, ее предмет, задачи и история». В фонде Куфтина в Архиве МАЭ хранятся рукописные планы этих курсов, по которым можно составить приблизительное представление об их содержании.

Курс лекций по сравнительному народоведению делился на историографическую и фактическую части. В первой давался обзор трудов классиков-эволюционистов, однако упор делался на

антропogeографию и диффузионистов — Ф.Гребнера, Ф.Ратцеля, Г.Фоя, В.Шмидта и др. Далее Куфтин объяснял основные теоретические понятия: культура, «прогрессивные и регрессивные признаки в культуре», «культурные переживания (культурный атавизм)», единство культуры, культурные провинции и элементарные идеи Бастиана, теория «культурных кругов» и исторический метод в этнологии и т.д.<sup>57</sup>. Вторая часть курса строилась по принципу выделения определенных «элементов» культуры (например, лук, топор, гончарство, обработка металлов, жилище и т.д.) и рассмотрения вопросов их происхождения и распространения в различных регионах и культурах.

«Прикладное народоведение» совмещалось с полевой практикой и было ориентировано на обучение навыкам конкретной исследовательской деятельности. Этот курс, по словам Куфтина, «ставит своей задачей дать на конкретном материале работнику народоведу-натуралисту теоретическую и практическую подготовку, научно правильно подойти на месте к пониманию своеобразно сложивших свой быт и культуру отдельных национальностей Союза и сопредельных областей, верно оценить нередко поразительную культурную приспособленность данной народной группы к особенностям местной природы и выявить те условия, на которых возможно ее дальнейшее культурное национальное бытие и развитие»<sup>58</sup>. Вопрос об использовании марксистских понятий применительно к этнологии в лекциях Куфтина, по всей видимости, не поднимался.

За время своей преподавательской деятельности Куфтин создал целую школу, воспитал учеников, многие из которых занимали впоследствии лидирующие позиции как в этнографии, так и в смежных дисциплинах. Среди них С.П.Толстов, М.Г.Левин, С.А.Токарев, Г.Ф.Дебеч, Н.Н.Чебоксаров, Я.Я.Рогинский и др.

\* \* \*

В 1924 г. в Москве по проекту В.В.Богданова создается Центральный музей народоведения (ЦМН). Он стал одним из важных этнографических центров. В его работе в разное время принимали участие видные московские ученые — Е.М.Шиллинг, В.Н.Белицер, В.К.Гарданов, П.И.Кушнер, С.А.Токарев, В.Ю.Крупянская и многие другие. С 1924 по 1930 г. Куфтин руководил в нем отделом Сибири.

В издательстве музея вышли две небольшие научно-популярные работы Куфтина, связанные с музейными экспозициями<sup>59</sup>. Одна из них является этнологическим очерком, кратко обрисовывающим основные характерные черты хозяйства и быта каза-

хов: дается детальное описание конструкции казахской юрты и ткацкого станка, национальной одежды. Работа основана на полевых материалах первой экспедиции Куфтина 1916 г., во время которой были сделаны и многочисленные фотографии. Вторая брошюра также имеет прикладное значение — «помочь посетителю, заинтересовавшемуся выставленной в Музее коллекцией бронзовых статуэток по ламаистскому культу, легче подойти к их пониманию и разобраться в вопросах, с ними связанных»<sup>60</sup>. В то же время это издание отражает сугубо музейную работу ученого — описание и инвентаризацию им коллекции тибетских, монгольских и бурятских статуэток, «бывшей по условиям поступления в музей совершенно немой»<sup>61</sup>.

Музей вел активную экспедиционную деятельность, одним из активных организаторов и участников которой был Борис Алексеевич. Значительно расширяется география его исследований: если раньше они ограничивались в основном европейской частью России, то теперь он участвует в экспедициях в Сибирь, на Дальний Восток и Кавказ. В 1926 и 1929 г. Куфтин проводит палеоэтнологические, антропологические и этнографические (в основном по материальной культуре) исследования в Северной Осетии; в 1927—1928 г. руководит работами организованной совместно с Антропологическим институтом И МГУ экспедицией по изучению тунгусо-маньчжурских народностей.

Экспедиция начала свою работу летом 1927 г. В ней принимали участие Б.А.Куфтин, помощник хранителя отдела Сибири ЦМН Б.А.Васильев, аспиранты Антропологического института Я.Я.Рогинский и М.Г.Левин, а также студент-антрополог А.Н.Покровский. Экспедиция разделилась на две группы. Первая (Б.А.Куфтин, М.Г.Левин и Я.Я.Рогинский), занимавшаяся изучением тунгусского населения Прибайкалья, прибыла на место приблизительно в начале июля и, «выехав на пароходе к северной оконечности Байкала, обследовала там, двигаясь на лодке, современные и древние (могильники) тунгусские поселения Киндыгирского и Самагирского родов на северном, восточном (до Томпы) и западном (до Горемыки) берегах Байкала»<sup>62</sup>. Другая группа в составе Б.А.Васильева и А.Н.Покровского направилась в Приморье в район расселения орочей. Куфтин, покинув первую группу, провел археологическую разведку на восточном берегу Байкала, а также раскопки тунгусского могильника в районе устья р. Зеи. Затем, через Хабаровск, он следует на соединение со второй группой, попутно останавливаясь у гиляков, нанайцев и удэгейцев. «Наблюдения среди удэхэ, — пишет Борис Алексеевич в одном из полевых дневников, — были сделаны мною во время двух посещений летних стойбищ удэхэ в 27 г. в

устье р. Онюй и в 28 г. в устье р. Хор. Кроме того, во время стоянок парохода, следовавшего во Владивосток, мною были осмотрены могильник удэхэ в устье р. Нельмы и жилище в устье р. Самарги. На р. Онюе 19.08. я посетил вместе с местным проводником погребение накануне похороненного удэхэ. 20—28.08 провел в стойбище удэхэ, собравшихся со всех верхних притоков р. Онюя, и присутствовал при шаманском обряде жертвоприношения двух свиней и лечения больных»<sup>63</sup>. В конце августа—начале сентября Куфтин посетил поселения негидальцев (гиляков). В «Путеводителе по отчетной выставке тунгусской экспедиции» участники экспедиции пишут: «В результате первого года работы экспедиции были собраны коллекции по быту орочей более 500 предметов, <...> тунгусов, гольдов, удэхэ и гиляков <...> Сделано свыше 400 фотографий по быту всех упомянутых народностей. Из палеоэтнологической разведки привезен материал с трех неолитоидных стоянок по Байкалу и 7 стоянок на Нижней Ангаре. Измерено около 200 взрослых и несколько десятков детей. Привезено 7 гипсовых масок, 13 портретов, рисованных с натуры, свыше 150 антропологических фотографий, 28 черепов тунгусов и 2 черепа орочей»<sup>64</sup>. В 1928 г. Куфтин и его коллеги продолжили изучение ороков Восточного Сахалина и удэгейцев в районе р. Хора. Оба года экспедиция работала на протяжении нескольких летних месяцев. В работе экспедиции 1928 г. также принимала участие супруга ученого В.А.Стешенко-Куфтина, опубликовавшая исследование о музыкальной культуре палеоазиатов и тунгусов<sup>65</sup>.

В статье, посвященной проблемам сибирской этнографии, Куфтин рассматривал их прежде всего с этногенетической точки зрения (культурные связи палеоазиатов и американских индейцев, история взаимодействия палеоазиатов и тунгусов и т.д.). Относительно приморских народностей, в частности, Борис Алексеевич, ссылаясь на Гребнера, высказывает предположение о существовавших некогда связях с океанийскими культурами: «...всюду по берегам островов западной части Великого океана, вплоть до амурских племен, айнов и Камчатки, встречаются отдельные черты быта, которые могут быть объяснены только как следы индонезийских культурных течений, некогда более широко охватывавших всю Восточную Азию. Сюда относятся, например, свайные постройки айнов, гиляков и камчадалов, много-семейные дома у гиляков, следы материнского права; наконец, своеобразный спиральный орнамент у гиляков и айнов, приближающийся к океанийскому»<sup>66</sup>. По мнению Куфтина, нанайцы, удэгейцы, ороки и негидальцы появились в результате смешения тунгусов и южных палеоазиатов, а эвены — это отунгузившиеся палеоазиаты.

По пути этногенетических исследований пошла и работа экспедиции 1927—1928 г., однако, к сожалению, Куфтин не успел обработать свои полевые материалы и опубликовать их. Большая их часть осталась в виде черновых полевых дневников и записей, почти целиком заполненных зарисовками различных предметов материальной культуры, жилища, шаманских принадлежностей, а также записями соответствующей терминологии. Впрочем, то же можно сказать и о полевых материалах других экспедиций Куфтина. Исключение составляют несколько тетрадей «Краткого эпизодического дневника экспедиции Антропологического института I МГУ и ЦМН летом 1927 г.». Стиль записей этого дневника, не чуждающегося описаний природы и фиксации самых разнообразных происшествий, а иногда превращающегося во внутренний монолог-размышление, разительно отличается от большинства полевых материалов ученого. Дневник интересен для нас тем, что в нем описываются разнообразные житейские ситуации, сопутствующие экспедиционному сбору информации, которые оказываются подчас не менее показательными, чем сам материал. Сам ученый, по-видимому, не причислял фиксируемые им подробности пути и знакомств как с туземным населением, так и с местными русскими к достойным войти в научный отчет об экспедиции «этнографическим фактам». Так, к примеру, он описывает камлание: «К сожалению, само шаманство прошло мало удачно, так как доктор (с ним Куфтин познакомился на пароходе. — С.А. и А.Р.), считая, что без этого шаман не будет чувствовать себя свободно, излишне угостил его и его помощника водкой. Одним из центральных моментов шаманства было растаптывание шаманом горящего очага ногами во время пляски. Ночью мы вели шамана, едва стоявшего на ногах, домой, а его помощник, вышедший еще во время камлания из чума на траву, спал непробудным сном. Я пожалел, что ушел из чума, а не остался ночевать там, и мы вместе с Максимом Григорьевичем (Левиным. — С.А. и А.Р.), захватив с собой шкуру медвежонка для подстилки, отправились ночью в тайгу на розыски чума. Нам удалось его разыскать по шуму ручья, и, переночевав там, наутро с пришедшим туда протрезвевшим шаманом мы фотографировали, зарисовали и записали его облачение»<sup>67</sup>.

Первоначально работа экспедиции напоминала прием у врача: «В больнице Яков Яковлевич (Рогинский. — С.А. и А.Р.) подготовлял уже с доктором помещенье для приема тунгусов, производства измерений и фотографирования антропологических портретов. Я занялся фотографированием, а <1 нрзб.> помогал заполнять бланки и производить расспросы. Работы двигались быстро и удобно; к сожалению, только среди инструментов не

оказалось тазового циркуля, который был отпущен Институтом для экспедиции в ЦПО. Приходилось применять для этого антропометр, что сильно задерживало. Вскоре все-таки приспособились, и на исследование одного человека по полной программе уходило в среднем минут двадцать»<sup>68</sup>.

В дневнике Куфтина описываются и эпизоды, характеризующие взаимоотношения тунгусов и русских, как участников экспедиции, так и ее случайных попутчиков. Видимо, под влиянием этнографов заинтересовался коллекционированием и сопровождавший некоторое время экспедицию местный врач, обезжавший тунгусские стойбища и делавший прививки. Борис Алексеевич записывает в своем дневнике: «За спирт доктору удалось приобрести связку домашних идолов, которые иначе получить совершенно невозможно. Тунгусы, однако, не одобряли их хозяина, что дурак он, плохо ему от этого будет. Действительно, их слова оказались пророческими: в ту же ночь сестра его, жена Савелия Шангина, в связи с размолвкой из-за продажи родовых богов в отчаянии убежала в тайгу, по словам однородцев, чтобы повеситься, ее не могут найти до сих пор»<sup>69</sup>. Все закончилось относительно благополучно: через три дня женщина была найдена в тайге в состоянии тяжелого нервного расстройства. Куфтин, также некоторое время отсутствовавший в этом стойбище, застал через несколько дней финал этой истории: «По-видимому, шаманкой делается, говорили тунгусы, так не пройдет. Савелий, ее муж, узнав, что мы пришли в стан, послал сына попросить у нас  $\frac{1}{4}$  бутылки водки для камлания; собирались пригласить Алексея (шаман. — С.А. и А.Р.) освобождать большую от духов»<sup>70</sup>. Случай с покупкой божков произошел перед самым отъездом Куфтина на восток, в район работы второй группы экспедиции. Уезжая, он сделал в дневнике запись, в которой чувствуется, что эта история навела его на размышления об этической стороне взаимоотношений исследователя и изучаемого им населения: «Отношение тунгусов к нам было очень хорошим и как-то особенно приветливым. Это возможно было отнестись только к их прекрасному нраву. Какая-то особая степенность, чувство достоинства и в то же время детская простота и несквозанность в обращении невероятно поражали. Не хотелось расставаться с этими людьми, с которыми были в общении каких-нибудь четыре дня и успели точно бы сдружиться с ними; от них мы получили много, а что мы им дали?»<sup>71</sup>.

\* \* \*

Принципы полевой работы, наряду со многими другими, обсуждались на чрезвычайно важном для истории отечественной

науки совещании этнографов Москвы и Ленинграда, проходившем в Ленинграде с 5 по 11 апреля 1929 г. Куфтин принял в нем активнейшее участие. Апрельское совещание 1929 г. было частью развернувшейся в конце 20-х—начале 30-х годов дискуссии о предмете этнологической науки. Историографы называют это совещание началом «революции в этнографии»<sup>72</sup>, поставившей усилиями возглавляемых В.Б.Аптекарем радикалов-марксистов под вопрос само существование этнографии/этнологии как самостоятельной научной дисциплины<sup>73</sup>. Из московских ученых наиболее активную роль в работе совещания играли декан этнологического факультета I МГУ П.Ф.Преображенский, выступивший с программным докладом «Этнология и ее метод», основной идеей которого было стремление вписать этнологию в гегелевско-марксистское представление об истории и отстоять таким образом ее право на существование, а также Б.А.Куфтин, доклад которого назывался «Задачи и методы полевой этнологии».

Обсуждению вопросов полевой работы на совещании было посвящено отдельное заседание. Уже тот факт, что содокладчиком Куфтина был В.Г.Богораз-Тан, наиболее авторитетный этнограф того времени, говорит о том, что Борис Алексеевич, несомненно, к 1929 г. был одним из самых влиятельных ученых-этнографов. Со многими теоретическими позициями, провозглашенными в его докладе, солидаризировались все активно выступавшие на совещании московские этнографы — С.П.Толстов, С.А.Токарев, М.Г.Левин и др., что подтверждают до сих пор не опубликованные протоколы дискуссии по докладам.

Этот доклад является, пожалуй, наиболее полным и обобщенным изложением теоретического кредо Куфтина как этнолога. Обсуждаемые в нем вопросы специфики этнографических знаний и предлагаемые ответы на них актуальны и в настоящее время. Как подчеркивает Куфтин, доклад имеет не столько практическо-методический, сколько теоретико-методологический характер. Задачи и методы полевой работы, по справедливому мнению докладчика, не могут быть оторваны от общего представления о том, чем должна заниматься этнография как наука и что является объектом ее изучения.

Как и Преображенский, Куфтин подчеркивает принадлежность этнографии к историческим наукам: «Этнология является наукой исторической. Изучая племенные культурно-бытовые, хозяйственные образования, она стремится понять их в процессе их сложения, как продукты социального развития всего человечества на стадиях более примитивной доиндустриально-фабричной общественности и общественности хотя и более развитой, но сохраняющей в тех или других частях пережитки последней.

В этом смысле этнология становится частью всеобщей истории человечества, восстанавливаемой ретроспективно на основании не только закрепленных письменностью событий, но и их бытовых пережитков и других бесписьменных памятников народного языка, различных сторон культурного и расового типа»<sup>74</sup>. Куфтин дает несколько формулировок своего видения задач науки. С одной стороны, он подчеркивает, что этнология «сосредоточивает свое внимание на этногенезе, изучая историю общественных форм и культуру в процессе племенных формообразований и, следовательно, в разрезе формаций этнических, возникающих, бытующих и исчезающих на основе более общих законов исторического развития»<sup>75</sup>. Вместе с тем внимание этнолога обращено на такие культурные реалии или, как говорит Куфтин, «формации», которые, «возникая в определенной этнической среде», в дальнейшем проходят «процесс денационализации, т.е. выхода за пределы своего национального типа». Таким образом, объекты изучения этнологии делятся на «племенные» (или этнически специфические) и «внеплеменные». Первые, согласно Куфтину, включают «национальные группы, их языки и идеологию, а также чисто национальные пласты в их антропологическом строении (физиогномическое, психологическое своеобразие, общественно-биологические свойства), в хозяйственно-бытовом укладе и социальном строе», ко вторым относятся «расовые типы с их биологическими особенностями, орудия и техника труда, хозяйственно-бытовые формы географических зон и культурно-исторических провинций»<sup>76</sup>.

Следует сказать, что теоретическая часть доклада Куфтина вызвала у наиболее активных радикалов-марксистов крайнее раздражение. В.Б.Аптекарь, к примеру, отзывается о ней как о чем-то недостойном серьезного обсуждения: «Я считаю большой ошибкой президиума, — заявил Аптекарь, — что он не гильотинизировал первой части доклада Куфтина <...> Что касается Куфтина, то здесь каждый мог констатировать наличие совершенно первобытного теоретического хаоса мировоззрения. На это не стоило тратить времени»<sup>77</sup>. Не менее категоричен Н.М.Маторин: «...я вынужден с места в карьер отмежеваться от той методологической путаницы, которую мы видели в докладе Б.А.Куфтина и которая произвела, вероятно, на все совещание угнетающее впечатление. Что касается чисто практической части доклада, то я, может быть, отношусь с глубоким уважением к тому, что на практике проделал Борис Алексеевич, но я считаю, что это менее всего нашло отражение в его докладе»<sup>78</sup>. Эти слова Маторина стали основой для формулировки, которая появилась в отчете о работе совещания в журнале «Этнография»: «Б.А.Куфтин, к

сожалению, большую часть своего доклада использовал на отвлеченные экскурсы в область теоретических вопросов, что лишило его возможности в достаточной степени изложить свой громадный методический опыт полевых экспедиционных исследований»<sup>79</sup>.

По следам состоявшихся дискуссий Маториным была опубликована программная статья «Современный этап и задачи советской этнографии», призванная положить конец спорам о предмете этнографической науки. В этой статье он критикует ученых «старой школы» — Штернберга, Богораза, Преображенского, Куфтина — за слишком широкое понимание «компетенции» этнографии, которая, по его словам, «представляет фактически один из разделов всемирной истории и занята изучением доклассовой общественно-экономической формации <...> и анализом "пережитков" или "остатков" этой формации в обществе феодальном, рабовладельческом и капиталистическом»<sup>80</sup>. В резком тоне Маторин отзывается о позиции Куфтина (к тому времени уже сосланного в Вологодскую область). Цитируя приведенные выше формулировки доклада «Задачи и методы полевой этнологии», он пишет: «Довольно скучно во всем этом копать, но совершенно очевидна и необходимость подобных раскопок. Вспомним хотя бы о путаной методологии Б.А.Куфтина, причислявшего себя к московской "антропологической школе" <...> Теории этого представителя московской "антропологической школы", выдвинувшего особую "этническую формацию", представляют, таким образом, мешанину из старой расовой антропологии и учения пресловутой культурно-исторической школы. Характерную черту марксистского учения — точность теоретических формулировок — Б.А.Куфтин пренебрежительно называет "номинализмом"»<sup>81</sup>.

Наибольшее недовольство критиков вызвало, как мы видим, довольно свободное обращение Куфтина с ключевым для марксистской философии истории термином «формация». Действительно, значение этого, по всей видимости, нового для ученого слова, употребляемого им для придания своим идеям большей «марксистскости», в докладе не вполне однозначно: Куфтин говорит о «вненациональных (классовых, политических и пр.) формациях», «расовых, эргологических и вообще культурных формациях» (подразумевая различные составляющие культуры — технологию, язык и т.д.) и, наконец, «общественных формациях». Вообще, доклад содержит довольно много теоретических идей, смысл которых остался, по-видимому, для многих неясен. После доклада было задано много вопросов, большая их часть сводилась к требованию уточнения употребляемых терминов.

Ответы ученого, не вполне владевшего марксистской терминологией, отличались усложненностью и тяжеловесностью формулировок, но за многими из них скрывались идеи, ставшие впоследствии в советской этнографии аксиомами. Прежде всего это касается не раз высказанного Куфтиным тезиса о связи этнологии и истории и о понятии этногенеза, являющегося их главным связующим звеном. Защищая тезисы своего доклада, он, в частности, говорил: «Я и наша антропологическая школа Московского университета рассматриваем основным объектом этнологической науки не отдельные как бы застывшие статические или метафизически созданные понятия об этносе, племени и т.д., а изучаем *процесс*, процесс определенный, который я называю процессом этногенетическим, т.е. процессом образования тех различий, которые мы в обычном нашем понимании называем племенным различием. Этнология изучает процесс образования, т.е. сложения, на определенных стадиях общественного развития определенной стадии производства, хозяйственных отношений, затем их бытование и дальнейшее разложение»<sup>82</sup>.

Как видно из некоторых формулировок доклада, Борис Алексеевич, подобно большинству «старых специалистов», стремился овладеть марксистской терминологией, в дискуссии он ссылался на «диалектический материализм», «политэкономию» и т.д., однако применение этой терминологии в его докладе (как, например, в случае с «формацией») нельзя признать удачным. Куфтин, по-видимому, чувствовал это и сам. Так, в самом начале своего доклада он сделал оговорку: «Не будучи марксистом, не имея специального марксистского образования, я, конечно, не могу претендовать на то, чтобы выразить основы этнологии в терминах и категориях диалектического материализма»<sup>83</sup>. В ходе дискуссии Куфтин признал актуальность овладения марксизмом, но ученый прежде всего отстаивал свободный, плюралистический путь развития науки: «Если мы наблюдаем, и наблюдаем на нашем совещании, целый ряд споров относительно методологии и задач нашей науки, то это показывает, что вопрос о методологии этнологии на основе диалектического материализма еще неработан. Для выработки его необходим коллектив. Только коллектив с его внутренними противоречиями, которые вполне естественно могут возникнуть, поскольку в коллектив должны войти этнологи-марксисты, и марксисты-неэтнологи, и этнологи-немарксисты, может дать правильную установку для нашей науки. Только в противоречиях рождается истина»<sup>84</sup>. Однако такие простые утверждения в общественно-политических условиях конца 20-х годов были далеко не самоочевидны. Молодые радикалы отнюдь не ощущали потребности в противоречиях, так как,

по их мнению, истина им была хорошо известна. Ее выразителем на совещании стал Аптекарь, с воодушевлением процитировавший своего «коллегу» из цеха историков М.Н.Покровского: «Если до сих пор еще кое-кто мог думать, что мы можем создавать себе научную смену руками старых ученых, то теперь эти соображения надо оставить»<sup>85</sup>.

Возвращаясь к дискуссиям на заседании по вопросам полевой работы, следует сказать, что на нем было поднято множество принципиальных вопросов: о соотношении «стационара» и экспедиции, об участии этнографов в административной и пропагандистской работе, об этической ответственности ученого перед изучаемым им народом и др. Большая часть времени на заседании была посвящена обсуждению преимуществ и недостатков двух основных методов полевой работы — стационарного и экспедиционного, однако это обсуждение выявило значительные концептуальные разногласия не только между различными «философиями» собственно полевой работы, но и между разными взглядами на задачи этнографической науки в целом. Poleмика была настолько острой, что участвовавший в обсуждении представитель московского МЦПО С.П.Толстов усмотрел в ней противостояние двух «школ», имеющих различные методологические установки<sup>86</sup>.

Действительно, совещание разделилось, с одной стороны, на ленинградских учеников Богораза во главе с ним самим, а с другой — на «москвичей», в основном связанных с музеями и работающих экспедиционным методом. Куфтин и Богораз явились, таким образом, выразителями двух различных, а во многом и противоположных представлений о характере работы этнографа.

Доклад Богораза назывался «Стационарный метод этнографии» и был посвящен обоснованию преимуществ этого метода полевой работы, предполагающего длительное (по Богоразу — как минимум полуторагодовое) пребывание исследователя в среде изучаемого народа при обязательном условии свободного владения языком. Богораз отстаивал холический принцип этнографического изучения, представляющий культуру в качестве единого целого, а не совокупности различных «культурных элементов»: «Культура каждой этнической группы представляет сплошной культурный комплекс, изучение которого невозможно без длительного стационарного подхода. Метод стационарного исследования включает как главный момент комплексное изучение методических разделов материальной, социальной и духовной культуры. Статистические элементы материальной культуры, как пища, жилище, одежда, не могут являться главным предме-

том изучения. Необходимо изучение трудовых производственных процессов и их отображений духовных (в частности, религиозных и социальных). Производственные процессы имеют циклический характер, поэтому существенно необходим годовой цикл изучения»<sup>87</sup>. Работа этнографа состоит в проникновении в мир иной культуры, невозможном без длительного и порой болезненного процесса «вживания», «понимания» ее реалий. Из тезиса о том, что «статистические элементы материальной культуры <...> не могут быть главными объектами изучения», следует критика Богоразом экспедиций музейного типа, ориентирующихся именно на сбор и изучение этих элементов. Такие работы, определяемые им как «немой комплекс», не могут дать адекватного представления о реальной жизни изучаемой группы: «В результате собираются вещи: а) по культу, б) по оружию, в) по народному платью, как будто бы люди только молятся, сражаются и наряжаются»<sup>88</sup>. Большинство ученых согласилось с тезисом Богораз о невозможности изучения материальной культуры в отрыве от духовной и о необходимости исследования всего «культурного комплекса» народа в целом.

Не менее остро встал на совещании вопрос об этической стороне взаимоотношений этнографа и «туземцев». Мнения по этому вопросу разделились. Верный народническим идеалам, Богораз полностью приветствует «практическое применение» знаний этнографа в качестве «секретаря сельсовета, уполномоченного по туземным делам» и т.д.: «В условиях СССР полевая работа этнографии должна непрерывно сочетаться с культурно-общественной работой»<sup>89</sup>. Гораздо сдержаннее по отношению к «прикладному» аспекту науки Куфтин: «Практические требования каждого отдельного момента не должны по возможности влиять на планомерность и углубленность этнологической исследовательской работы. Прикладная ценность этнологии, не исчерпываемая только сегодняшним днем, должна гарантироваться правильно разработанной методологией»<sup>90</sup>. Также он является категорическим противником занятия этнографом каких-либо административных должностей, что, по его мнению, отрицательно сказывается на объективности собираемого материала.

Столкнувшись с достаточно жесткой позицией ленинградцев «полевиков», «москвичи» — Куфтин, Преображенский, Толстов, Левин, Токарев — вынуждены были защищать свое понимание науки. В заключительном слове Борис Алексеевич, отнюдь не отвергая первостепенного значения «стационарного» метода, отстаивает необходимость сравнительного этнологического подхода, основанного на широком использовании сопоставлений: «Исследователь, который работает сравнительным этнологическим

методом, имеет возможность самой подготовкой своей (это вовсе не шутка) познакомиться со всем окружением данной народности. В сущности говоря, нужно познакомиться с материальной культурой или другими институтами всего земного шара, чтобы быть сравнительным этнологом. Этнолог с такой подготовкой, приезжая в определенную область даже на короткий срок, может получить в высшей степени ценные и необходимые результаты, каких местный краевед, как бы точно он ни знал язык группы, не может получить, просто не заметив»<sup>91</sup>. Основным аргументом «москвичей» в защиту своей методики явилась «объективность» достигаемых с ее помощью результатов. В противоположность ориентации Богораза на «понимание» и «вживание» Куфтин подчеркивал: «...нельзя понимать вещи так, как их понимает сам носитель, сам народ. Нужно понимать их в свете сравнительной, широкой этнологии»<sup>92</sup>.

Помимо рассмотренных выше доклад Куфтина поднимал еще ряд важных вопросов: о соотношении центральной науки и краеведения на местах, о роли этнографических музеев и правильной организации экспедиций по сбору музейных коллекций. Полевую работу Куфтин связывал прежде всего именно с деятельностью музеев, так как именно музей является основным хранителем этнологической информации: «Все эти собранные материалы, помещенные в музей вместе с точно зафиксированным языком, фольклором и музыкальными мелодиями, являются действительно реальными материалами для построений этнологии»<sup>93</sup>.

Итак, на совещании проявилась существенная разница в методологиях этнографов Москвы и Ленинграда. Штернберг, Богораз и их ученики были по преимуществу специалистами по одному народу или группе народностей. Длительные полевые исследования с неременным знанием языка изучаемого народа для них были основным принципом работы этнографа. Для Куфтина же и других москвичей, занимавшихся материальной культурой и «этнологическими» обобщениями (в основном на материале этнографии Европейской России), принцип знания языка и стационарной работы был не столь важен. В резолюции по докладам Куфтина и Богораза подчеркивался безусловный приоритет «стационарных» исследований, кратковременные же экспедиции «возможны лишь как повторные после стационарной длительной работы или в целях выполнения тематических заданий, но, конечно, при условии знания соответствующего языка. В отдельных случаях в целях этнографической рекогносцировки или пополнения материалов и музейных коллекций возможны и кратковременные экспедиционные работы без зна-

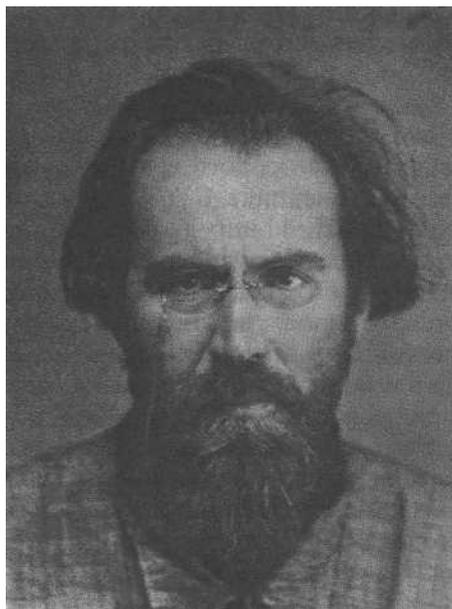
ния языка»<sup>94</sup>. Дальнейшее развитие отечественной этнографии, однако, показало, что, несмотря на то что сторонники экспедиций оказались на Совещании 1929 г. в позиции обороняющихся, в защите скорее нуждался стационарный метод.

Чрезвычайно ценное свидетельство, характеризующее ситуацию в этнографической науке того времени, мы находим в недавно опубликованном дневнике С.А.Токарева, тогда еще аспиранта и сотрудника ЦМН. 11 апреля 1929 г., в день окончания совещания, он сделал следующую запись: «Ленинградское совещание дало страшно много, по крайней мере мне лично. Я отчетливо уяснил себе сущность важнейших оформившихся в настоящее время течений в этнологии, соотношение сил, между кем и кем идет и должна идти борьба. С одной стороны — штернберго-богоразовское направление, господствующее в Питере; его отличительные черты — наличие неизжитых элементов биологизма и психологизма; глава его Богораз страдает хаотичностью теоретического мышления, отсутствием оформленной и надежной методологии. Находящаяся под его и покойного Штернберга влиянием молодежь в большей или меньшей степени разделяет эту болезнь и лишь часть ее, под влиянием марксизма, высвобождается из-под этого одеяния теоретической аморфности, да и то едва ли вполне, разве лишь отдельные лица, вроде Маторина, м.б. Кошкина. О стариках и говорить нечего. В Москве такую же примерно роль играет Куфтин и его немногочисленные сторонники; Толстов как будто решительно "отмарксизировался" от Куфтина, но Маркелов — еще как будто не вполне; Левин — тем более»<sup>95</sup>.

Однако в год «великого перелома» практически более значимыми оказались не споры между сторонниками стационарного и экспедиционного методов, а наступление радикальных обществоведов-марксистов (не обремененных глубокими познаниями в этнографии, но пользовавшихся поддержкой «сверху»), а также части примкнувших к ним ученых-этнографов на носителей «старых» взглядов и приверженцев идеологического плюрализма, объявленных «буржуазными специалистами». К этой категории был причислен и Б.А.Куфтин.

\* \* \*

Вскоре после участия в этнографическом совещании 1929 г. Куфтин был насильно выключен из дальнейшего хода развития отечественной науки. Партийно-государственное давление на науку значительно усилилось, в научных и учебных заведениях прошла волна чисток. Попал в нее и Борис Алексеевич: 27 сентября 1930 г.



*Б.А.Куфтин.*

Фото из следственного дела

он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и выслан на Север сроком на три года, которые отбывал в Вологде<sup>96</sup>. Мало что известно об этом, пожалуй, самом тяжелом периоде жизни ученого. Однако даже в этих условиях Куфтин не прекращает попыток заниматься наукой: в 1932 г. он пишет статью «Архитектура туземцев Дальнего Востока» для подготовлявшейся в то время «Дальневосточной энциклопедии»<sup>97</sup>. Ссылка продолжалась три года. В 1933 г. Куфтин был восстановлен в правах, но продолжать работу в Москве уже не было возможности: он был официально отнесен к «группе идеологов либеральной буржуазии», которым ставилось в вину «некритическое восприятие буржуазного наследства»<sup>98</sup>. Поэтому по предложению профессора Г.К.Ниорадзе, работавшего некоторое время в Антропологическом институте у Анучина, Борис Алексеевич перебирается на постоянное место жительства в Тбилиси и становится ученым-консультантом по археологии в Государственном музее Грузии. Этот переезд, по-видимому, уберег ученого от новых репрессий. В конце 1933—начале 1934 г. по сфабрикованному «делу славистов» была арестована большая группа уче-

ных-гуманитариев, среди них — девять этнографов, в том числе ближайшая сотрудница Куфтина по ЦМН Н.А.Лебедева<sup>99</sup>.

Трагические обстоятельства, обусловившие резкий перелом в судьбе ученого, даже не упомянуты, по понятным причинам, ни в одном из опубликованных текстов, посвященных Куфтину. В написанных Г.Ф.Дебецем и М.Е.Массоном некрологах этот факт трактуется как добровольный переезд<sup>100</sup>. Впрочем, Закавказье входило в орбиту научной работы ученого и ранее: в 1929 г. он участвует в Закавказской экспедиции ЦМН в составе второго ее отряда, в который кроме него входили В.А.Стешенко-Куфтина и художник В.А.Ватагин. Борис Алексеевич занимался в экспедиции в основном изучением материальной культуры. Однако после 1933 г. Куфтин полностью отказывается от организации или участия в каких-либо этнографических работах. Мы не имеем возможности достоверно судить о том, в какой степени этот отказ был вынужденным. Очевидно, по каким-то причинам занятия этнографией в Грузии для ученого оказались невозможны. Таким образом, с 1933 г. начинается новый период в научной деятельности Куфтина, целиком посвященный археологическим исследованиям в Грузии.

Б.А.Куфтин сразу же активно включается в работу грузинских археологов. В 1934—1935 гг. он участвует в организованной под руководством акад. И.И.Мещанинова Абхазской археологической экспедиции в составе отряда, изучавшего памятники «родового и античного общества»; в 1936 г. возглавляет экспедицию Института им. Марра в селении Дабла-Гоми Самтредского района; в 1937 г. работает на раскопках дольменов на территории Абхазии в селениях Кюр-Дере и Азанта. В результате этих раскопок Куфтину удается выявить истинный возраст этих сооружений, построенных, по его оценке, на рубеже III и II тысячелетий до н.э., в то время как прежде на основании обнаруженных там впускных погребений, содержащих железное оружие и золотые монеты, их датировали II в. н.э. Раскопки в Абхазии выявили особый культурный комплекс, доказывающий, как пишет Куфтин, «значительно независимое от Малой Азии культурное достояние широких общественных групп населения Западной Грузии и вообще Западного Кавказа в I-й пол. 2-го тыс.»<sup>101</sup>. Результаты раскопок Абхазской экспедиции составили обширное двухтомное издание «Материалы по археологии Колхиды» (т. 1, Тбилиси, 1949; т. 2, Тбилиси, 1950).

Уже в первые годы пребывания в Тбилиси Куфтин проводит большую работу по систематизации и датировке археологических материалов, хранящихся в фондах Государственного музея Грузии и ряда местных краеведческих музеев. Одним из результатов

этой работы стала организованная в 1934 г. под руководством Ниорадзе и Куфтина первая в Музее Грузии археологическая выставка. Она носила название, в котором отразились и этнографические интересы Куфтина, «Доклассовое общество в Закавказье». Эта выставка, по мнению историографов, послужила серьезным толчком для развития грузинской археологии. Так, А.М.Анакидзе пишет: «Значение первой археологической выставки трудно переоценить: целое поколение молодых работников получило здесь методологические установки и богатейшие специальные познания...»<sup>102</sup>.

В 1936—1940 г. Куфтин руководит раскопками на Цалкском плато в Триалети. Эти раскопки принесли результаты, которые, по мнению О.М.Джапаридзе, «коренным образом изменили наши представления о далеком прошлом Грузии и Кавказа в целом»<sup>103</sup>. В науке того времени преобладало мнение, согласно которому «расцвет металлической индустрии на Кавказском хребте и в Грузии начинается внезапно лишь на рубеже 1-го и 2-го тыс. до н.э. вместе с появлением железа...»<sup>104</sup>. Благодаря работам Куфтина в Триалети это представление было пересмотрено. Им были открыты самобытные культуры эпохи ранней и средней бронзы. На Цалкском плато Куфтиным было раскопано множество памятников, датированных от палеолита до раннего средневековья. Исследование открытых на Цалкском плато куро-аракской и триалетской культур позволило восстановить картину постепенного развития железной индустрии на территории Кавказа, а также выявить тесные связи между Кавказом и переднеазиатским миром. Результаты этих работ были опубликованы Куфтиным в монографии «Археологические раскопки в Триалети. Опыт периодизации памятников» (т. 1), которая была отмечена в 1942 г. Сталинской премией<sup>105</sup>.

Раскопки в Триалети, а также систематизация музейных археологических коллекций позволили Куфтину поставить важную этногенетическую проблему происхождения грузинской культуры. В 1944 г. в «Вестнике Государственного музея Грузии» он публикует статью «К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе», являющуюся своеобразным итогом его десятилетних исследований в этой области. Лейтмотивом этой статьи является стремление ученого доказать самобытность открытых им древних кавказских культур. Новые археологические находки, а также анализ коллекций музейных фондов позволили Куфтину говорить о длительном (начиная с III тыс. до н.э.) развитии на Южном Кавказе местной оседлой земледельческой культуры, знающей обработку металла. Статья, в характерной для исследователя манере, насыщена широким сравнительным

материалом и археологическими параллелями, анализ которых приводит к выводу о том, что в эпоху ранней бронзы территория Южного Кавказа «не оставалась вне господствовавших в это время культурных течений и была тесно связана с древнейшими центрами месопотамской цивилизации независимо от Малой Азии»<sup>106</sup>. Куфтин выделяет на территории Грузии несколько культурных областей. Кроме того, в доказательство преемственности развития культуры он приводит сходство в формах некоторых сельскохозяйственных орудий, найденных при раскопках и еще бытующих в этнографической современности. В другой работе Борис Алексеевич подчеркивает: «Открытие в Триалети очага высокой культуры эпохи средней бронзы (сер. II тыс. до н.э.) и возможность проследить его местное развитие, уходящее своими корнями в установленный нами, также впервые, на территории Куро-Аракского Двуречья основной культурный пласт, созданный древнейшими оседло-земледельческими обществами Южного Кавказа на заре появления металла, явились серьезнейшим ударом по господствовавшим до этого времени теориям о миграции грузинских племен на территорию их современного расселения из Малой Азии, Каппадокии и Киликии»<sup>107</sup>.

Послевоенные исследования Куфтина явились дальнейшим логическим продолжением его триалетских раскопок. В 1945 г. он осуществляет экспедицию в Южную Осетию и Имеретию. Прерванные в 1941 г. работы Триалетской экспедиции были возобновлены осенью 1947 г. при финансовой поддержке грузинской Академии наук. Результаты этих раскопок были опубликованы ученым в книге «Археологические раскопки 1947 г. в Цалкинском районе»<sup>108</sup>.

Современные исследователи-археологи подтверждают правильность основных положений работ Куфтина по кавказской археологии. «Им с самого же начала была воссоздана в основном правильная картина культурно-исторического развития, — писал О.М.Джапаридзе, — и сделан вполне обоснованный вывод, что древнейшие корни истории грузинского народа следует искать в далеком прошлом, в культуре эпохи бронзы. Дальнейшие исследования, давшие огромный фактический материал, еще более уточнили и утвердили выдвинутые им положения о ранних стадиях истории Грузии»<sup>109</sup>. О влиянии кавказоведческих работ Куфтина можно судить по количеству ссылок на них в таких обзорных трудах по древней грузинской истории, как «Наследие Древней Грузии» (Тбилиси, 1989) и «Древняя Колхида» (Тбилиси, 1979) О.Лордкипанидзе.

Справедливости ради следует отметить, что Борис Алексеевич не избежал свойственного в те годы многим ученым, интересо-

вавшимися этногенетической проблематикой, увлечения марризмом. С наибольшей полнотой это проявилось в изданном в 1949 г. (накануне появления «гениальной» работы Сталина о языкознании!) первом томе «Материалов по археологии Колхиды», вышедшем с посвящением Н.Я.Марра. Напомним, что сама работа была написана еще в 1935 г., однако в предисловии к изданию Куфтин пишет, что «этногенетические концепции Н.Я.Марра» по-прежнему остаются в силе. Во втором томе (1950 г.) яфетидологический анализ Куфтин не применяет. Автор вышедшей в 1952 г. рецензии на оба тома «Материалов...» И.С.Кацнельсон предъявляет Куфтину в этой связи обвинения в «попытке замолчать методологические ошибки, допущенные в первом томе»: «Если Б.А.Куфтину еще в 1934 г. стали ясны ошибки Н.Я.Марра, то почему же он счел возможным не только издать в 1949 г. без изменения свой труд, основанный именно на четырехэлементном анализе, но и пропеть панегирик "новому учению о языке" в предисловии? Почему он пишет об этом лишь в сентябре 1950 г.? Таким образом, он не только не подвергает критике ошибки первого тома, а, наоборот, замалчивает их и вводит в заблуждение читателя, указывая, вопреки очевидности, на свою якобы исконную приверженность к "подлинному историзму"»<sup>110</sup>. Впрочем, в том, что касается археологической части работы, выводы Куфтина Кацнельсон под сомнение не ставит. Забегая вперед, отметим, что подобные обвинения и призывы к самокритике ожидали Куфтина и на сессии Отделения истории и философии АН СССР, ИИМК и ИЭ АН СССР, посвященной итогам полевых исследований в 1952 г. В ее резолюции записано: «Сессия отмечает, что и сейчас, почти через три года после выхода в свет гениальных трудов И.В.Сталина по вопросам языкознания, многие активные в прошлом пропагандисты марризма — А.Д.Удальцов, П.П.Ефименко, Б.А.Куфтин и другие — не выступили в печати с признанием и разбором своих ошибок»<sup>111</sup>.

Возвращаясь назад, отметим, что заслуги Куфтина перед национальной археологической и исторической наукой Грузии были по достоинству оценены. В 1944 г. он был избран членом-корреспондентом грузинской Академии наук, в 1946 г. — ее действительным членом. Его работы широко публиковались. Однако в жизни Куфтина в Грузии были не только положительные стороны. Не просто складывались отношения с коллегами. Вот, к примеру, что пишет в своих воспоминаниях известный советский археолог и востоковед Б.Б.Пиотровский: «В 1938 г. уже были первые выдающиеся находки Куфтина из раскопок цалкинских курганов середины II тыс. до н.э. в Триалети. В коллек-

ции предметов были замечательные расписные сосуды, совершенно необычные, выдающиеся ювелирные изделия, в которых интуитивно чувствовались влияния культуры Древнего Востока, — все было великолепно и необычно. Куфтин раскрывался с трудом, дневники не показывал, просил ничего не зарисовывать. Он стал заниматься и урартскими древностями, в частности колумбарием в Игдыре, материал которого он разобрал и со мной консультировался, но многое не договаривал»<sup>112</sup>. Тот же Пиотровский называет отношения, сложившиеся между Куфтиным и Ниорадзе, «несносными»<sup>113</sup>. Подобный конфликт в судьбе ученого уже имел место: именно из-за соперничества за приоритет публикации раскопок Льяловской стоянки были испорчены отношения между ним и Б.С.Жуковым, что нашло отражение в сноске, которой Куфтин сопроводил свою статью: «К сожалению, мне не удалось до конца разобрать керамику, так как при обработке льяловского материала мне было оказано препятствие Б.С.Жуковым, который, однако, сам свободно пользовался моим дневником, рисунками, советами и дружеской критикой»<sup>114</sup>. Вполне возможно, что Куфтин старался не раскрывать своих материалов до публикации не только из-за опасения, что кто-то может их использовать, но и потому, что не хотел испытывать влияния чужих интерпретаций его находок.

Возьмем на себя смелость предположить, что подобные обстоятельства послужили одной из причин, по которой Борис Алексеевич — уже в который раз — меняет объект своих научных исследований. В 1951 г. по приглашению профессора М.Е.Массона он принимает участие в работах Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции, занимавшейся изучением поселений эпохи энеолита, меди и бронзы — «культуры Анау». Куфтин возглавляет отряд экспедиции, работавший на раскопках холма Намазгар-Депе. По материалам этих раскопок он подготовил два сообщения, опубликованные уже посмертно<sup>115</sup>. М.Е.Массон пишет: «Осенью 1952 г. со свойственным ему жаром Б.А.Куфтин приступил к работе, обследовав до двух десятков больших и малых поселений от Геок-Тепе до Меаны, на ряде из них осуществив раскопки и заложив глубокие шурфы. Полученные результаты, даже в их первичном осмыслении, оказались исключительно плодотворны, дав ряд четких положений к истории человеческого общества на территории Южного Туркменистана поры патриархально-общинного строя»<sup>116</sup>. Весной 1953 г. Куфтин в Москве на сессии Отделения исторических наук АН СССР делает доклад, который, по словам Г.Ф.Дебеца, «позволял надеяться, что изучение культуры Анау вступило в новый, высший этап»<sup>117</sup>. Однако летом того же года трагический

несчастный случай, произошедший во время отдыха под Ригой, оборвал жизнь ученого.

В данной статье мы попытались осветить все грани разностороннего дарования Б.А.Куфтина — выдающегося этнографа и археолога. Арест и ссылка резко разделили судьбу ученого на два периода. Первый, московский, характеризуется активной научно-исследовательской и преподавательской деятельностью, а также широкими теоретическими обобщениями, позволяющими говорить о нем как о ведущем представителе российского варианта «культурно-исторической школы», возникшей в отечественной науке как реакция на кризис эволюционизма под влиянием немецкой этнологии. В 20-х годах он был одним из виднейших ученых-этнографов, повлиявшим на становление целого поколения отечественных исследователей. Второй период — после переезда в 1933 г. в Тбилиси — характеризуется значительным усилением археологической составляющей в его научных интересах, этнографическая же проблематика, не исчезая полностью, отходит на второй план. Репрессии и ссылка не сломили Куфтина как ученого. Обратившись вновь к научным исследованиям, но уже в Грузии, вдали от политико-идеологических бурь центра, Куфтин внес крупный вклад в изучение древней истории этой страны, добился официального признания своих заслуг. Он пользовался неизменным авторитетом среди коллег. Так, М.Е.Массон пишет: «Глубина эрудиции и широта научного кругозора, большая страстность в труде, умение горячо увлечься проблемой, поставить задачу и, преодолевая все трудности на пути, разрешить ее проходят через все научное творчество Б.А.Куфтина»<sup>118</sup>. Нет сомнений в том, что, если бы не те трагические перемены в его судьбе, о которых мы говорили, он мог бы сделать еще больше. Сегодня настало время по достоинству оценить роль этого ученого в истории отечественной науки.

<sup>1</sup> *Куфтин Б.А.* Календарь и первобытная астрономия киргиз-казацкого народа. — ЭО. 1916, № 3—4, с. 124.

<sup>2</sup> *Токарев С.А.* Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку. — Избранное. Т. 1. М., 1999, с. 3.

<sup>3</sup> *Токарев С.А.* К методике этнографического изучения материальной культуры. — Там же. Т. 2, с. 3.

<sup>4</sup> *Дебец Г.Ф.* Памяти Б.А.Куфтина. — СЭ. 1954, № 1, с. 167.

<sup>5</sup> *Богданов В.В.* Задачи этнологического изучения Центрально-промышленной области. — Вопросы этнологии Центрально-промышленной области. М., 1927, с. 9.

<sup>6</sup> Там же, с. 10.

<sup>7</sup> Там же, с. 9.

<sup>8</sup> Там же, с. 12.

- <sup>9</sup> Там же, с. 3.
- <sup>10</sup> *Толстов С.П.* Предисловие. — Культура и быт населения ЦПО. М., 1929, с. 5.
- <sup>11</sup> *Зеленин Д.К.* Перспективный план работ по этнографическому изучению Центрально-промышленной области. — Там же, с. 23.
- <sup>12</sup> *Преображенский П.Ф.* Вопросы развития советской этнологии. — Там же, с. 15.
- <sup>13</sup> Культура и быт населения ЦПО. Протоколы совещания. Протокол № 8. М., 1929, с. 222.
- <sup>14</sup> Там же, с. 224.
- <sup>15</sup> Там же, с. 223.
- <sup>16</sup> Там же.
- <sup>17</sup> Там же.
- <sup>18</sup> Там же.
- <sup>19</sup> *Куфтин Б.А.* Задачи и методы полевой этнологии (тезисы доклада). — Этнография. 1929, № 2, с. 128.
- <sup>20</sup> *Куфтин Б.А.* Материальная культура русской мешеры. М., 1926, с. 9.
- <sup>21</sup> *Куфтин Б.А.* Задачи, методы и достижения в изучении костюма Центрально-промышленной области. — Вопросы этнологии Центрально-промышленной области. М., 1927, с. 34.
- <sup>22</sup> Там же, с. 36.
- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> *Куфтин Б.А.* Материальная культура русской мешеры, с. 104.
- <sup>25</sup> *Гаген-Торн Н.И.* К методике изучения одежды в этнографии СССР. — СЭ. 1933, № 3—4, с. 120.
- <sup>26</sup> Там же, с. 127.
- <sup>27</sup> Цит. по: *Маслова Г.С.* Из истории восточнославянской этнографии (Жизнь и творчество Н.И.Лебедевой). — СЭ. 1991, № 5, с. 53.
- <sup>28</sup> *Куфтин Б.А.* Южнобережные татары Крыма. — Крым. 1925, № 1, с. 22.
- <sup>29</sup> *Куфтин Б.А.* Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова (материалы и вопросы). М., 1925, с. 5—6.
- <sup>30</sup> *Куфтин Б.А.* Задачи и метод изучения крестьянского жилища Рязанской губернии. Рязань, 1925, с. 4.
- <sup>31</sup> *Куфтин Б.А.* Жилище крымских татар, с. 14.
- <sup>32</sup> Там же, с. 50.
- <sup>33</sup> Там же, с. 30.
- <sup>34</sup> Там же, с. 49.
- <sup>35</sup> *Преображенский П.Ф.* Вопросы развития советской этнологии, с. 15.
- <sup>36</sup> *Куфтин Б.А.* Жилище крымских татар, с. 6.
- <sup>37</sup> Там же.
- <sup>38</sup> Там же.
- <sup>39</sup> *Куфтин Б.А.* Южнобережные татары Крыма, с. 27.
- <sup>40</sup> Там же, с. 23.
- <sup>41</sup> *Куфтин Б.А.* Татары касимовские и татары-мишари ЦПО. К вопросу выяснения областных типов и составляющих элементов волго-татарской этнической культуры (Этнические наименования и элементы жилища). — Культура и быт населения ЦПО, с. 140.
- <sup>42</sup> Там же, с. 146.
- <sup>43</sup> Там же, с. 144.
- <sup>44</sup> Там же, с. 148.
- <sup>45</sup> *Куфтин Б.А.* Льяловская неолитическая культура на реке Клязьме в Московском уезде в ее отношении к окскому неолиту Рязанской губернии и ранне-неолитическим культурам Северной Европы. — Труды общества исследователей

Рязанского края. Вып. 5. Рязань, 1925; об археологических работах Куфтина также см.: *Формозов А.А.* Следопыты земли московской. М., 1988, с. 108—111.

<sup>46</sup> *Куфтин Б.А.* Новая культура бронзовой поры в бассейне р. Оки на оз. Подборном близ г. Касимова Рязанской губ. — Материалы к доистории ЦПО. М., 1927, с. 45—48.

<sup>47</sup> *Генинг В.Ф.* Очерки по истории советской археологии. Киев, 1982, с. 79.

<sup>48</sup> Там же, с. 86; подробнее о Б.С.Жукове см.: *Решетов А.М.* Борис Сергеевич Жуков как представитель анучинской школы. — Интеграция археологических и этнографических исследований. Сб. научных трудов. Омск, 1999.

<sup>49</sup> *Куфтин Б.А.* О методе изучения преемственности погребенных и современных племенных культур. — Материалы к доистории ЦПО, с. 19.

<sup>50</sup> Там же.

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Там же, с. 20.

<sup>53</sup> Там же, с. 21.

<sup>54</sup> Там же, с. 23.

<sup>55</sup> Там же.

<sup>56</sup> АМАЭ, ф. 12, оп. 1, № 110.

<sup>57</sup> Там же, № 116, л. 14.

<sup>58</sup> Там же, л. 5.

<sup>59</sup> *Куфтин Б.А.* Киргиз-казаки. Культура и быт (применительно к обстановочному залу «Уголок кочевого аула» в ЦМН). М., 1926; *он же.* Краткий обзор пантеона северного буддизма в связи с историей учения. М., 1927.

<sup>60</sup> *Куфтин Б.А.* Краткий обзор пантеона северного буддизма., с. 3.

<sup>61</sup> Там же, с. 4.

<sup>62</sup> АМАЭ, ф. 12, оп. 1, № 109, л. 8.

<sup>63</sup> Там же, № 42, л. 1.

<sup>64</sup> Там же, № 109, л. 9.

<sup>65</sup> *Стещенко-Куфтина В.Н.* Элементы музыкальной культуры палеоазиатов и туңгусов. — Этнография. 1930, № 3, с. 81—108.

<sup>66</sup> *Куфтин Б.А.* Мелкие народности и этно-культурные взаимоотношения на северо-востоке Сибири. — Северная Азия. 1925, № 1—2, с. 70.

<sup>67</sup> АМАЭ, ф. 12, оп. 1, № 51, л. 36—37.

<sup>68</sup> Там же, л. 34.

<sup>69</sup> Там же, л. 41.

<sup>70</sup> Там же, л. 45—46.

<sup>71</sup> Там же, л. 47.

<sup>72</sup> *Слезкин Ю.* Советская этнография в нокдауне: 1928—1938. — ЭО. 1993, № 3, с. 116; подробнее об этом см.: *Соловей Т.Д.* Эволюция понимания предмета этнографии в советской этнографической литературе 1917—1932 гг. — Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1990, № 5, с. 50—60; *она же.* От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998; *она же.* «Коренной перелом» в отечественной этнографии (дискуссия о предмете этнологической науки: конец 1920-х—начало 1930-х годов). — ЭО. 2001, № 3, с. 101—121.

<sup>73</sup> Термины «этнология» и «этнография» в отечественной научной традиции употреблялись равноправно. Куфтин предпочитал говорить об «этнологии». Как и для многих других ученых, «этнография» для Куфтина связывается с эмпирической, описательной работой. «Этнология» же имеет значение чего-то более синтетического, связанного с теорией, однако он противник их разделения и противопоставления. Так, первый тезис его доклада гласит: «Принципиальное единство этнологии и этнографии. В одной науке не может быть разделения на науку черную и описывающую — этнографию и белую чисто кабинетную —

этнологию» — *Куфтин Б.А.* Задачи и методы полевой этнологии (тезисы доклада), с. 125.

<sup>74</sup> Там же, с. 126.

<sup>75</sup> Там же.

<sup>76</sup> Там же, с. 127.

<sup>77</sup> АМАЭ, ф. К1, оп. 7, № 7, л. 287.

<sup>78</sup> Там же, л. 308.

<sup>79</sup> *Я.К.* и *Н.М.* Совещание этнографов Ленинграда и Москвы 5/IV—11/IV 1929 г. (Хроника). — *Этнография*. 1929, № 2, с. 112.

<sup>80</sup> *Маторин Н.М.* Современный этап и задачи советской этнографии. — СЭ. 1931, № 1—2, с. 19. Подробнее о Н.М.Маторине см.: *Решетов А.М.* Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин. — Наст. изд., с. 148—193.

<sup>81</sup> Там же, с. 9.

<sup>82</sup> АМАЭ, ф. К1, оп. 7, № 7, л. 249. Эргология (эргономика) — научная дисциплина, комплексно изучающая человека (или группу людей) в конкретных условиях его (их) деятельности в современном производстве. В СССР в 20—30-е годы развитие этой дисциплины связано с работами В.М.Бехтерева и В.Н.Мясищева.

<sup>83</sup> Там же, л. 246.

<sup>84</sup> Там же.

<sup>85</sup> Там же, л. 288.

<sup>86</sup> Там же, л. 295.

<sup>87</sup> *Богораз В.Г.* Стационарный метод этнографии. — *Этнография*. 1929, № 2, с. 123—124.

<sup>88</sup> Там же, с. 124.

<sup>89</sup> Там же, с. 123.

<sup>90</sup> *Куфтин Б.А.* Задачи и методы полевой этнологии, с. 126.

<sup>91</sup> АМАЭ, ф. К1, оп. 7, № 7, л. 340.

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> *Куфтин Б.А.* Задачи и методы полевой этнологии, с. 128.

<sup>94</sup> *Этнография*. 1929, № 2, с. 130.

<sup>95</sup> *Токарев С.А.* Из дневников. — Благодарим судьбу за встречу с ним. О С.А.Токареве — ученом и человеке. М., 1995, с. 161.

<sup>96</sup> См.: *Решетов А.М.* Б.А.Куфтин — выдающийся советский этноархеолог. — Интеграция археологических и этнографических исследований. Сб. научных трудов. Владивосток—Омск, 2000, с. 46.

<sup>97</sup> Подробнее см.: *Бутенина Н.Д.* К истории Дальневосточной энциклопедии. — Проблемы краеведения (Арсеньевские чтения). Уссурийск, 1989, с. 73—74.

<sup>98</sup> *Этнография*. — БСЭ. Т. 64. М., 1934, с. 776.

<sup>99</sup> См.: *Полищук Н.С.* Подвижнический путь в науке: Наталия Ивановна Лебедева. — Репрессированные этнографы. Вып. 1. М., 1999, с. 265—283.

<sup>100</sup> *Дебец Г.Ф.* Памяти Б.А.Куфтина. — СЭ. 1954, № 1; *Массон М.Е.* Б.А.Куфтин. — Известия Академии наук Туркменской ССР. 1954, № 1.

<sup>101</sup> *Куфтин Б.А.* К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе по данным археологии. — Вестник Государственного музея Грузии. Т. 12-В. Тбилиси, 1944, с. 306.

<sup>102</sup> *Анакидзе А.М.* Развитие археологической науки в советской Грузии. — Советская археология. 1964, № 4, с. 5—6.

<sup>103</sup> *Джаспаридзе О.М.* К 100-летию со дня рождения академика Б.А.Куфтина. — Российская археология. 1993, № 3, с. 247.

<sup>104</sup> *Куфтин Б.А.* Археологические раскопки в Триаleti. Опыт периодизации памятников. Т. 1. Тбилиси, 1941, с. 3.

<sup>105</sup> Чрезвычайно подробную рецензию на эту работу опубликовала Т.С.Пассек в «Вестнике древней истории» (1946, № 1); см. также рецензии С.В.Кисе-

лева, Ш.Амиранашвили и Г.Чубинашвили в «Историческом журнале» (1942, № 2) и С.В.Киселева в «Архитектуре СССР» (1942, № 1).

<sup>106</sup> Куфтин Б.А. К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры..., с. 300.

<sup>107</sup> Куфтин Б.А. Археологическая маршрутная экспедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию. Тбилиси, 1949, с. 1—2

<sup>108</sup> Куфтин Б.А. Археологические раскопки 1947 г. в Цалкинском районе. Тбилиси, 1948.

<sup>109</sup> Джапаридзе О.М. К 100-летию со дня рождения академика Б.А.Куфтина, с. 248.

<sup>110</sup> См.: Вестник древней истории. 1952, № 1, с. 127.

<sup>111</sup> АРАН, ф. 142, оп. 1, д. 509, л. 128.

<sup>112</sup> Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. СПб., 1995, с. 153.

<sup>113</sup> Там же.

<sup>114</sup> Куфтин Б.А. Льяловская неолитическая культура на р. Клязьме..., с. 25.

<sup>115</sup> Куфтин Б.А. Работы ЮТАКЭ в 1952 г. по изучению «культур Анау». — Известия Академии наук Туркменской ССР. 1954, № 1, с. 22—29; *он же*. Полевой отчет о работе 14-го отряда ЮТАКЭ по изучению культуры первобытно-общинных оседлоземледельческих поселений эпохи меди и бронзы в 1952 г. — Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Ашх., 1956.

<sup>116</sup> Массон М.Е. Б.А.Куфтин, с. 92.

<sup>117</sup> Дебец Г.Ф. Памяти Б.А.Куфтина, с. 167.

<sup>118</sup> Массон М.Е. Б.А.Куфтин, с. 91.